

(Окончание)

12. ДОРОГОЙ ЛЕОНИД ИЛЬИЧ

А вскоре меня как молодого коммуниста включили в группу молодежи, которая должна была приветствовать съезд КПСС. Тогда это было признаком стремительного повышения социального и профессионального статуса. Мы должны были несколькими колоннами выдвинуться по проходам меж кресел к сцене и в нужный момент, размахивая над головой зелеными веточками, крикнуть: «Ленин, партия, комсомол!» И так несколько раз, пока из президиума благосклонно не кивнут, мол, хватит, ребята, ступайте себе! Репетировали до одури. Стоявшая за мной актриса Наталья Белохвостикова всем своим тонким лицом выражала сдержанное негодование и брезгливость, как принцесса, подвергшаяся домогательствам простолюдинов. Шагавший впереди меня актер Николай Еременко иногда оборачивался и подмигивал, мол, вот попали-то! Я в ответ мученически закатывал глаза. На трибуне тем временем теснились представители пяти основных категорий молодежи, взволнованно славя что положено, а белорусский поэт Володя Некляев читал свои специальные стихи:

Плыви, страна — эпохи ледокол.

Греми в цехах, вставай в полях хлебами...

Интересно, вспоминал ли он эти строки, когда, став лидером белорусской националистической оппозиции, в нулевые годы тягался с Лукашенко за пост президента, а потом отсиживался в Польше? «О, я без иронии, — как писала наша сверстница Татьяна Бек. — Я же четвертая с краю...»

В пионерском приветствии съезду звучали и мои стихи, написанные по просьбе ЦК ВЛКСМ:

Реет над нами победное знамя,

И, словно клятва, доносится клич:

«Мы счастливы жить в одно время с вами,

Дорогой Леонид Ильич!»

Принимая работу, заведующий отделом пропаганды ЦК ВЛКСМ совершенно серьезно похвалил:

— Молодец, рифмы неплохие нашел! Не поленился. А то мы тут одному лауреату поручили, так он намастачил: «шагать — помогать», «зовет — вперед»! Как не стыдно!..

— Рад стараться! — по-военному ответил я.

Он поднял на меня глаза: в них была гремучая смесь тоски и тяжелой иронии.

— Думаю, генеральному понравится! — спохватился он и закончил аудиенцию.

Во время съезда я стоял близко к сцене и мог рассмотреть лица членов политбюро, изможденные, серые. Это был какой-то ареопаг мумий. Брежнев с трудом читал текст, делая иногда смешные оговорки. В этот момент президиум и зал насупливались и суровели, видимо, давя в глубине рвущиеся на поверхность лица улыбки. Леонид Ильич явно своих ошибок стеснялся, кашлял, чмокал, поправлял очки, с укором оглядывался на соратников. Много позже я узнал, что как раз в это время он после инсульта просил об отставке, но сподвижники непустили... Тогда казалось, что такое издевательство над старым человеком и народом, вынужденным слушать его «сиськи-масиськи» (это означало «систематически») возможно только у нас, в «немытом СССР», при тирании одной партии. Но вот наступила демократия, и мы обрели Ельцина, который на излете говорил еще смешнее и невнятнее. В отличие

от дисциплинированного Брежнева, читавшего прилежно по бумажке, Борис Николаевич спяну порол такие «загогулины», что вся страна краснела от стыда и с ностальгией вспоминала «дорогого Леонида Ильича».

В 1987 году в «Советском писателе» вышла моя последняя, как я тогда думал, стихотворная книга «Разговор с другом». Поэт во мне тихо агонизировал, а прозаик крепчал. В том сборнике, кстати, впервые у меня появились верлибры – верный признак того, что стихотворцу стало тесновато в ритмических строках, оснащенных «рифм сигнальными звоночками». В тематическом плане «Молодой гвардии» на 1987 год значился мой новый сборник в серии «Второе дыхание». Но родник (а именно так любили в ту пору называть разные литературные кружки) иссяк. Высох! Я пошел к заведующему редакцией поэзии Георгию Зайцеву, сменившему на этом посту Вадима Кузнецова, и честно сказал: у меня нет новых стихов, поэтому я отказываюсь от издания. Точнее, сначала пришлось выслушать новую поэму Жоры и его долгие мысли об искусстве, а потом мне удалось наконец-то сообщить ему эту информацию. На некоторое время Зайцев потерял дар речи и смотрел на меня с изумлением, как на караса, совершившего на его глазах акт саможаривания. Такого в его практике еще не было, чтобы автор отказался от книги! В стране уже начались проблемы с бумагой, и даже мэтры вылетали из тематических планов, а оставшиеся условно – бились буквально насмерть. Однако на мое место в темплане издательства ЦК ВЛКСМ никто не покушался, я же был лауреатом премии Ленинского комсомола.

– Ты хорошо подумал? – придя в себя, спросил Жора.

– Да.

– А то, знаешь, давай освежимся! У меня есть коньячок...

Жора, видимо, решил, что на меня с похмелья

напала мрачная, обычная для поэта (вспомните Есенина!) экзистенциальная безысходность, которая легко лечится деликатным введением в организм разумных доз хорошего алкоголя.

– Жор, спасибо, я в порядке, у меня просто нет новых стихов...

– Съезди на две недельки в Дубулты, напиши! – посоветовал он, опираясь, вероятно, на свой опыт.

– Не пишется...

– Поройся в черновиках!

Это был известный «способ добычи радия». Ради новой книги поэты опустошали свои архивы, до блеска выскребали сусеки, перелицовывали старые стихи или давали им новые названия, разбивали классические катрены на «лесенки» – лишь бы выпустить еще одну книгу. Любой ценой! А тут...

– Значит, отказываешься? – скрывая радость, переспросил он.

– Да, отказываюсь, но при условии...

– Каком!

– Бумагу отдадут молодым поэтам.

– Это ты хорошо придумал! – огорченно закивал Зайцев.

Жора, надо сказать, условие выполнил: через год вышел коллективный сборник, точнее пять первых книг под одной обложкой, куда вошли стихи Юрия Чехонадского и еще четырех молодых авторов. С одной стороны, они были рады, так как при вступлении в Союз писателей книга в «братской могиле» приравнивалась к отдельному изданию. С другой стороны, им всем обещали авторские сборники, потом, ссылаясь на дефицит бумаги, тянули резину и вдруг, сообщив о моем щедром жесте, взяли и поместили всех под общую обложку. Обидно. У меня хранится этот коллективный сборник с дарственной надписью давно уже покойного Юрия Чехонадского, моего соратника по семинару Сикорского: «Юра, я тебе этого никогда не забуду!» И понимай, как хочешь...

13. ВЕЛИКИЙ СОВЕТСКИЙ ЧИТАТЕЛЬ

Я где-то читал, что великий физиолог Павлов даже из собственной кончины устроил научный эксперимент: диктовал свои предсмертные ощущения, а ученики тщательно записывали.

– Холодеют ноги... – говорил Павлов.

«Холодеют ноги», – записывали ученики.

– Умираю... – шептал Павлов.

«Умирает», – записывали ученики.

Будучи по образованию филологом и даже защитив кандидатскую диссертацию о фронтовой поэзии, я тоже имею некоторую склонность к научным наблюдениям и несколько раз пытался на собственном опыте проанализировать закономерности умирания поэта. Ведь все у меня шло хорошо и даже прекрасно. Выходили одна за другой поэтические книжки – всего четыре. Я широко печатался в периодике, выступал на радио и даже на телевидении. На вечерах срывал аплодисменты. Получил за свои книги несколько литературных премий, в том числе премию Московского комсомола, что было по тем временам очень серьезно. Я был несомненным баловнем успеха. Для сравнения: за свои повести и романы (а в прозе, думаю, читатель согласится, мне удалось сделать несравненно больше, нежели в поэзии) я на сегодняшний день получил поощрений куда меньше. Исключение составляет повесть «ЧП районного масштаба». Но премия Ленинского комсомола, присужденная за эту вещь, относится скорее к политике, нежели к литературе.

Кроме того, стихи меня кормили. Я получал гонорары за публикации, но что еще серьезнее – подружился с Всесоюзным бюро пропаганды художественной литературы. Великая, доложу

вам, была организация! Могла откомандировать для творческих встреч с трудящимися в любой уголок Отечества – хоть на Алтай, хоть на Сахалин, хоть в ныне суверенную до неузнаваемости Эстонию... Выступив перед читателями, ты должен был отметить в местном особую путевку. За выступление полагалось 15 рублей. Деньги предприятия и организации охотно перечисляли из так называемых фондов соцкультбыта. Понятное дело, в дальние края меня отправляли не с одной путевкой. Прибыв на место, я обычно шел к начальству, которое, сделав несколько строгих директивных звонков, направляло меня в массы. Не могу сказать, что, к примеру, председатель колхоза, увидав в своем кабинете столичного поэта, подпрыгивал от радости.

– Сколько нужно организовать выступлений? – хмуро спрашивал он.

– Десять, – скромно отвечал я.

– Десять? Они там с ума сошли! У меня же уборочная! И дороги развезло... На тракторе тащить надо! Нет, вы поймите правильно, товарищ поэт, стихи мы здесь любим. Я вот Пушкина уважаю. Но ведь уборочная...

– Я понимаю.

– Что же делать? Что? – парторг нервно мерил кабинет шагами.

И он, и я прекрасно знали, что нужно делать, но выжидали, приглядываясь друг к другу, ибо для нарушения финансовой дисциплины требовалось единодушие, переходящее в сговор.

– Послушайте! – вдруг, словно пораженный неожиданной мыслью, восклицал он. – Давайте так... Вы выступаете в центральной усадьбе – в бухгалтерии и библиотеке. А на остальных путевках я вам штампы поставлю. Из любви к литературе. Идет?

– Вообще-то не положено, – розовея от радости, отвечал я, ибо объезжать на тракторе подразделения колхоза мне тоже не очень-то хотелось.

– Сам знаю: не положено, – почти уже просил

меня председатель. — Но ведь уборочная и дороги развезло...

— Ну ладно... — поколебавшись для вида, соглашался я. — Мы тоже в Москве понимаем. Уборочная... Закрома родины...

— Ну и прекрасно! — широко улыбаясь председатель и наклонялся к селектору. — Дуся? Гони вместо обеда бухгалтерию в актовЫй зал. Поэт из Москвы приехал... Как фамилия?

— Поляков, — подсказывал я.

— Куликов. Очень известный поэт!

Справедливости ради надо сказать, что встречи, организованные таким вот необычным способом, проходили всегда очень тепло. Читал я любовную лирику, и меня, как правило, долго не отпускали, прихватывая, кроме обеденного перерыва, еще рабочее время. Я повторял на «бис» понравившиеся людям строчки:

И если мы любовь уже не ценим

За красоту, как небо и цветы,

Попробуем беречь хотя бы в целях

Охраны окружающей среды...

Никогда не было и не будет, наверное, более благодарных слушателей стихов, чем женщины из российской глубинки. Они, несмотря на свою трудную и довольно однообразную жизнь (а может быть, именно благодаря этому), обладают чрезвычайно высокой душевной культурой и особой чуткостью к слову. Поэт просто обязан постоянно проверять себя чтением стихов, скажем, в районной библиотеке. Если люди, собравшиеся там, не воспринимают твои стихи, не сопереживают им, значит, делаешь что-то не то. Поверьте, я не заигрываю с «рядовым читателем», а утверждаю: стихи, оставляющие эмоционально-равнодушной «нефилологическую» публику, — не поэзия. Возможно, это какой-то другой, весьма уважаемый и перспективный вид интеллектуальной игры, в которой тоже используются размер, рифмы, тропы... Но поэзия — это то, от чего загораются глаза и холодеет под ложечкой у груст-

ной бухгалтерши, пришедшей вместо обеда послушать залетного стихотворца. Советская эпоха дала не только несколько поколений прекрасных поэтов, она воспитала несколько поколений замечательных читателей и слушателей поэзии. Увы, и те и другие уходят, исчезают — незаметно, но неумолимо. Хотя иногда их еще можно встретить в самом неожиданном месте...

14. КАК УМИРАЮТ ПОЭТЫ

В 2011 году мы с Евгением Евтушенко ждали своей очереди к начальнику земельного комитета Ленинского района Московской области. В эту уважаемую организацию нас привели переделкинские заморочки. Если москвичей испортил квартирный вопрос, то писателей — дачный. Мы сидели в коридоре, и Евгений Александрович буквально страдал от того, что никто из просителей, уткнувшись в бумаги, не узнает его, всенародного. Отчаявшись, он наклонился к девушке, строчившей рядом заявление, и спросил с интимной игривостью:

— Голубушка, назовите мне выдающегося русского поэта, родившегося на станции Зима!

Она нехотя оторвалась от писанины, глянула на пожилого пристава как на расконвоированного сумасшедшего и сурово попросила не отвлекать ее от дела глупыми вопросами. Автор «Братской ГЭС» скукожился, как мумия, и повернулся ко мне. На его лице был ужас человека, заглянувшего в мертвецкую.

— Юра, ну зачем я прилетаю сюда два раза в год?! — воскликнул он с геморроидальным отчаянием. — Эта страна мертва! Духовная пустыня! Конец... Понимаете?

Я кивнул, учитывая его заслуги перед поэзией, и промолчал. Мне-то было понятно совсем дру-

гое: не может русский поэт безнаказанно оставить по собственному желанию Родину в самые сложные времена, пятнадцать лет жить в Америке, а потом обижаться на свое Отечество за невнимание...

— Нет! Ноги моей больше здесь не будет! — покончил счеты с неблагоприятной страной Евтушенко, померк и отвернулся к окну.

В этот момент начальственная дверь открылась, и оттуда вышла немолодая женщина с подписанной бумажкой в благодарных руках. Она, думая о чем-то своем, может, о побелке и купоросе, машинально окинула нас занятым взглядом и вдруг вскрикнула, потрясенная:

— Нет... Не может быть... Евгений Александрович, это вы?

— Я... — сознался, оживая, Евтушенко.

— Можно, я вас потрогаю!

— Можно!

Получив разрешение, она бросилась ему на шею с почти чувственным стоном, крепко обняла, оторвалась, отстранилась, глядя в любимые черты, и прочитала наизусть «Любимая, спи!». Потом снова жарко обняла:

— Вы... Вы просто не знаете, кто вы для нас! Господи, теперь и умереть можно... — всплакнула и сквозь слезы прочитала «Хотят ли русские войны...».

Они еще долго обнимались, вспоминая вечера в Политехническом, родную Сибирь... Когда же поклонница наконец ушла вся в счастливых слезах, Евтушенко обернулся ко мне и, светясь, произнес:

— Нет, Юра, с этой страной еще не все конечно! У России есть шанс!

...Но вернемся к моей поэтической судьбе. Можно сказать, на взлете я вдруг перестал быть поэтом. Но не сразу, процесс был естественный, постепенный, а ведь случается по-другому...

Вот два примера из моего поколения.

Мой литературный сверстник поэт Петр Ко-

шель, приехавший искать счастья в столицу из Белоруссии, был беден, хром, лыс и бездомен, зато писал такие стихи, что Вадим Кожинов поспешил объявить его наследником традиций Тютчева и Рубцова, надеждой русской поэзии. Мы дружили. Он провожал меня в армию. Вдруг неожиданно для всех Петя женился на дочке члена политбюро Слюнькова, в недавнем прошлом минского партийного функционера, стремительно возвысившегося после странной гибели в автомобильной аварии Петра Машерова — легендарного первого секретаря ЦК КП Белоруссии. Причем, насколько я понимаю, то был брак не по расчету, а по взаимной любви. Петр и Инесса познакомились еще в Минске. Кстати, в том, что дочку большого советского начальника можно покорить талантом, никто ничего странного не увидел. Тогда еще не знали той классовой спеси и той пропасти между богатыми и бедными, как сегодня.

Через несколько лет я встретил Кошеля в ЦДЛ, мы выпили пива. Он рассказал, как ездил с какими-то генералами на охоту, и стал звать меня в гости, обещая показать свою новую квартиру и угостить двадцатилетним коньяком. Кто же откажется от двадцатилетнего коньяка! К тому же я как раз получил от Союза писателей трехкомнатную квартиру на Хорошевке, чем страшно гордился. Хотелось сравнить. Тем более что первая квартира, полученная молодоженами, была в Лосинке, в том самом доме, на стройке которого я подрабатывал в студенческие каникулы разнорабочим. Жизнь любит опоясывающие рифмы.

— А теперь где? — спросил я.

— На Таганке.

— Ух ты!

И мы поехали, благо на метро всего пять остановок без пересадки. Сердце мое нехорошо заныло, едва мы подошли к новому дому из бежевого кирпича — «кремлевки». Таких в Москве было совсем немного. Консьержка в просторном подъезде, благоухавшем, как парфюмерный от-

дел ГУМа, углубил огорчение: мой подъезд пах, как и положено, мусоропроводом, навешаемым кошками. А когда мы вошли в квартиру, я чуть не погиб от отчаянья: по огромному холлу, размером со всю мою жилплощадь, гонялись друг за другом на велосипедах Петины дети. Я окончательно сник и молча пил, не чувствуя вкуса, раритетный коньяк под рассказы хозяина о том, что теща с женой никак не могут выбрать по спецкаталогу финскую мебель для гостиной. Я за своей стенкой «Ратенов» три недели ходил по вечерам к магазину отмечаться в списке. К чему я вспомнил этот эпизод? Не знаю... Но Кошель вскоре, к страшному огорчению Кожинова, как-то полуисчез из литературы, зато ездил на охоту с генералами и лечился в цековских санаториях. Видимо, всякому таланту для развития необходимо сопротивление жизни, он хиреет в атмосфере не заработанного комфорта. Есть такие самозатачивающиеся ножи: чем больше режешь — тем острее лезвие. Видимо, так же обстоит дело и с поэтическим словом, если оно становится ненужным, в том числе и для заработка. Вот так!

Другой случай — судьба Андрея Богословского, поэта, прозаика, композитора, автора рок-оперы «Ассоль», сына Никиты Богословского. Году в 1995-м в моей квартире раздался звонок. Это был Андрей, с которым мы подружились в 1976-м на семинаре творческой молодежи в Пахре, а потом почти одновременно дебютировали с прозой в «Юности». Он часто бывал у нас в Орехово-Борисове, обожал Натальины пельмени и обычно звонил, подражая голосу и дикции Брежнева, что получалось у него очень смешно. Творческая Москва не успевала следить за тем, как он менял жен и автомобили. После 1991-го Андрей исчез из моего поля зрения и вот вдруг объявился. На этот раз Богословский говорил своим, но очень странным, словно механическим, голосом.

— Юра, я видел тебя по телевизору, из чего заключил, что ты человек состоятельный. Поэтому

хочу попросить у тебя в долг крупную сумму. Надеюсь, ты не откажешь...

— Сколько?

— Тысячу рублей! — после паузы сказал он тоном человека, решившего прыгнуть с Останкинской башни.

Сумма была по тем временам немаленькая, что-то около двухсот долларов. А на сто долларов, если не шиковать, семья могла прожить месяц.

— Ладно, — согласился я, понимая, такой баловень судьбы, как Андрияша Богословский, не обратился бы ко мне за помощью без серьезного повода. — Да, но в два приема. Пятьсот могу сразу, а вторую половину через месяц.

Условились назавтра встретиться в холле ЦДЛ. Я пришел, огляделся, но Андрея не обнаружил. Вестибюль был пуст, если не считать старичка-бомжа, которого почему-то пустили в наш клуб, и он дремал на банкетке возле гардероба, испуская тяжелый помоечный запах. Бомж пошевелился, открыл ярко-голубые глаза, тяжело встал и, шаркая, пошел мне навстречу, распахнув объятия... Это был мой ровесник, звезда моего поколения Андрей Богословский. Он дрожащими руками взял деньги и сказал, что, если сейчас не похмелится, — умрет. Мы выпили где-то пива, он после нескольких глотков ослаб и стал бормотать, что решил завязать с водкой, что уже отдал в починку пишущую машинку, разбитую в пьяной ссоре с женой, курьершей журнала «Юность», что теперь он будет много работать... «Но ты не забудь — через месяц еще пятьсот!» Через месяц я не стал с ним встречаться — оставил деньги у дежурного администратора ЦДЛ «на тумбочке». А вскоре Андрей умер — то ли с перепоя, то ли от передозировки. Он увлекался и тем и другим, а как прекрасно начинал!

Со мной, как я уже сказал, все было иначе. Умирание внутреннего поэта похоже на угасание любви. Очевидно, за поэзию или любовь отвечают в нас какие-то очень схожие «пептиды». Се-

годня вдруг ты заметил, что у твоей единственной женщины широковаты шиколотки. Конечно, ничего страшного, а все-таки... Через несколько дней ты вдруг обращаешь внимание на то, что она слишком громко смеется. Нет, не вульгарно, просто громко. Но все же... Еще через неделю, когда неожиданно сорвалось ваше свидание, ты чувствуешь не вселенское отчаянье, а лишь досаду с легким привкусом облегчения. Едва заметным, а тем не менее... Наконец, во время плотского слияния, которое еще недавно было для тебя пьянящим смыслом и назначением всей жизни, ты неожиданно видишь ваши объятия как бы со стороны, ощущая себя участником странных состязаний по межполовой классической борьбе... Далее расставание с женщиной – вопрос времени и порядочности.

Примерно то же самое происходит, когда из души уходит поэзия. В один прекрасный день ты понимаешь, что можешь жить и без стихов. Вчера не мог, а сегодня можешь. Нет, ты, конечно, еще способен их сочинять, и в немалом количестве, благо рука набита – можешь зарифмовать телефонный справочник. Но теперешние, вымученные строчки от прежних, настоящих отличаются так же, как искусно выполненный восковой муляж от подлинной ароматной антоновки, тронутой крапчатой осенней желтизной. И главное: если прежде стихи были отрадой для души и мукой для разума, то теперь как раз наоборот – они стали мукой для души и отрадой для разума, изощренного в рифмах и тропях. Тебе становится ясно: невозможно, охладев, заставить себя писать настоящие стихи, как невозможно заставить себя любить постылую женщину. Можно старательно изображать эту любовь, плодить детей, выполнять семейные обязанности, мыть посуду... Но любить?! Любить нелюбимую – пытка.

Я не стал длить пытку и сделался прозаиком, о чем не жалею. К тому же на дне души самого заваливающего прозаика всегда отыщутся обломки поэта.

Надеюсь, читатели моих повестей и романов это заметили...

Таковыми словами в 2001 году я закончил мои заметки про то, как был поэтом, и поместил их в первую книгу четырехтомного собрания сочинений. Прошло 15 лет. Я стал осторожнее относиться к хлестким, эффектным, но не совсем достоверным фразам. Поэты не только умирают, но и воскресают...

15. КАК ВОСКРЕСАЮТ ПОЭТЫ

Об одном из таких воскрешений я просто не могу не рассказать. Речь идет об Игоре Селезнев, моем сверстнике, чье имя читатель уже встречал в этих заметках. Мы с ним оба коренные москвичи, по образованию учителя-словесники, в 1970-е вместе входили в литературу, посещали поэтический семинар Сикорского. Он был лидером семинара, я до сих пор наизусть помню многие его стихи тех лет:

*Как у поэтов нету возраста,
Так ночью в Новгородской области
Ждешь – не дождешься темноты.
Лишь все по-прежнему смеркается,
С кустами дальними смыкается,
И пахнут дивные цветы...*

Да и дебютировал я с Игорем в коллективной подборке в 1974 году на полосе «Московского комсомольца». Правда, Селезнев к тому времени уже широко печатался и был своего рода мэтром нашего поколения, на все литературные явления имел свой твердый взгляд, о Пастернаке или Мандельштаме говорил так, словно они его старшие друзья, а о Вознесенском с теплой иронией, будто бы Андрей Андреевич – напраказивший приятель. Потом почти в одно время у нас

с Игорем вышли книжки в «Молодой гвардии» в серии «Молодые голоса». Игорь – единственный из друзей-поэтов гулял на моей свадьбе в 1975 году, выпил и едва не пал жертвой неюной одинокой программистки, сослуживицы моей жены. В дальнейшем мы постоянно общались: едва я занимал какой-то пост, например, в журнале «Смена», или затевал литературный проект, тот же альманах «Реалист», первый, кто появлялся на пороге со стихами, Игорь Селезнев, полный своего неповторимого мрачного достоинства. На его лице всегда играло то особенное выражение, какое бывает у людей, глубже других постигших тайный смысл жизни, но не желающих огорчать простоватых современников своим тайным знанием.

Возглавив в 2001 году «ЛГ», я ждал появления друга юности с минуты на минуту, даже спрашивал у секретарши, не заходил ли он в мое отсутствие. Нет – не заходил. Селезнев вдруг исчез. Несколько раз я предпринимал тщетные попытки разыскать его, пока покойный ныне Юрий Чехонадский (наш однокашник по семинару Сикорского) не сообщил мне, что Игорь, по выражению Михаила Светлова, «ушел в дальнюю область, загадочный плес...». И песню унес. К тому же предварительно сойдя с ума.

– Это точно?

– Точно, – скорбно кивнул Юра. – Перепроверил по нескольким источникам.

Юра был по образованию математиком, ко всему относился системно и даже с помощью формул убедительно доказал: ощущение, будто с возрастом дни становятся короче и сменяются быстрее, а время просто летит, вовсе не ощущение, а физическая явь. Чем дальше в жизнь, тем объективно длина наших суток сжимается, как шагреновая кожа. Хотите верьте – хотите нет.

Я принял эту весть о кончине Селезнева с грустной готовностью: наше поколение редело стремительно: Коля Дмитриев, Гена Касмынин, Галя Безрукова, Женя Блажеевский, Саша Щуплов... Душевные заболевания и странности в нашей среде тоже встречались. Достаточно вспомнить поэта Егора Самченко, в прошлом главного психиатра целого района Подмосковья. Так вот, при общении он сам напоминал мне пациента, сбежавшего из дома скорби. А знаменитый Диомид Костюрин, нагишом выбросившийся из окна своей квартиры, предварительно выпив и хрястнув о пол бокал «Советского шампанского»! Итак, готовя новую редакцию этого эссе, я вставил в мартиролог имя своего давнего товарища Игоря Селезнева, не забыв упомянуть о его помешательстве. Бражничая с соратниками литературной молодости, мы обязательно вспоминали Селезнева и пили за его светлую память. А поэт Владимир Нежданов, тоже наш сверстник, стал священником и регулярно молился за упокой души Игоря, который был глубоко верующим человеком, постоянно осенял себя крестным знамением и мог водить экскурсии по храмам Москвы.

Вдруг в 2016 году, весной, в Переделкино раздается звонок и удивительно знакомый голос спрашивает:

– Юра, знаешь, кто тебе звонит?

– Кто?

– Только не падай!

– Я сижу за компьютером.

– Игорь Селезнев.

– ???!...

Оказывается, он прочитал мое эссе в Интернете, обнаружил свое имя среди утрат, справедливо вознегодовал и решил восстановить справедливость. Мы встретились и обнялись. На мой вопрос, куда же он исчезал и почему не давал о

себе знать целых 16 лет, Игорь посмотрел на меня с мудрым сочувствием и ответил: «А зачем? Для того, что я сейчас делаю в поэзии, журналы, газеты, публикации, признание читателей вовсе не нужны...» Обращается же он ко мне, так как его задели мои слова о помешательстве.

— Разве ты не видишь, что я здоров?

— Вижу...

— Тогда дай опровержение, будь добр!

Вскоре в «ЛГ» вышла большая подборка Игоря Селезнева с моим извиняющимся предисловием, где я подчеркивал, что после долгой разлуки встретил друга юности, как принято говорить, в трезвом уме и здравой памяти. Вот только стихи в подборке были все те же, что я знал двадцать лет назад. На вопрос, нет ли чего новенького, он очень серьезно и чуть свысока сообщил, что пишет сейчас одновременно несколько сотен стихотворений, но показывать их не хочет — слишком сильным будет потрясение...

16. ПАЦИЕНТ ЖИВ!

Надо сознаться, став прозаиком, я все-таки не раз обращался к стихам. Нет, вернуться в то особое состояние, когда весь мир — лишь повод для точного сравнения или метафоры, окутывающей, как шайка ледяной воды, мне почти не удавалось. Но я тосковал по временам, когда удачная аллитерация, рожденная в трамвайной скуке, оправдывала прожитый день:

*Вот так он живет и прижизненной славы
не просит,*

*Но верит, конечно, в один из ближайших веков
Привинтят, быть может, к автобусу
сто сорок восемь*

Табличку «Здесь жил и работал поэт Поляков».

Неслучайно в моих драматических и проза-

ических сочинениях среди персонажей часто встречаются поэты. В пьесе «Одноклассница» спившийся пиит Федя Строчков читает мое юношеское стихотворение «Дразнилки, ссоры, синяки, крапива...», в свое время ценимое соратниками. Герой романа «Замыслил я побег...» Башмаков посещает литературное объединение, очень похожее на то, в которое ходил я сам. А в «Гипсовом трубаче» стихи стали важной частью романной ткани. Кто-то из критиков даже упрекнул меня в том, что я соорудил из вязниковской учительницы Ангелины Грешко лихую литературную мистификацию вроде легендарной Черубины де Габриаак. Ну в самом деле, чем не новое направление в поэзии, скажем, «неоархаизм»:

Готический камин огнем ярится.

Доспехи наспех свалены в углу.

Голубоглазый странствующий рыцарь

В мой замок постучал и зван к столу...

Но я ответил критику, что любые мистификации бессмысленны, когда вся нынешняя поэзия, по сути, и есть сплошная навязчивая мистификация. Впрочем, стихи мне довелось сочинять не только для героев моей прозы. В начале 90-х, взбешенный тем, что происходило в Отечестве, я разразился политическими эпиграммами, частично опубликованными в оппозиционной прессе. Меня в те годы потряс сарказм глумливой Истории, которая творит тектонические перемены в обществе с помощью ничтожных и смехотворных людей.

Знать, мы прогневили Всевышнего.

Нет прордыху от стервецов.

Все Минина ждали из Нижнего,

А выполз какой-то Немцов...

Впрочем, если читатель полагает, будто теперь, попав в «кремлевский писательский пул», я доволен всем, что происходит в Отечестве, он глубоко ошибается. Писатель не имеет права быть в оппозиции к государственности, а вот в

оппозиции к власти он обязан быть по природе выбранной профессии. Поручкой тому мои «Стансы» (2011):

Как же ты, страна, такую стала?

Где стихи? Кругом один центон!

Всюду вышибалы да менялы,

Да зубастый офисный планктон.

Вместо субмарин – буржуев яхты.

Вместо танков – «меринов» стада.

Где рекорды, доблестные вахты?

Где герои честного труда?

Где самоотвержцы, что готовы,

Русь храня, остаться неглиже?

Где Пожарский? Вместо Третьякова

Вексельберг с яйцом от Фаберже!...

Конечно, случались у меня и лирические рецидивы, правда, краткие, не такие жаркие и плодотворные, как прежде. Для лирики необходимо особое состояние, которое можно сравнить с отпускной беспечностью, словно ты гуляешь сам по себе в весеннем парке. А вот на лавочке – милая девушка с книгой, явно ей не интересной. Подсяду-ка, а вдруг... Из этого «вдруг» и получают стихи. Но когда ты тащишь в одной руке баул новой пьесы, в другой – у тебя чемодан-эпопея с оторванной ручкой, а за спиной – пудовый рюкзак «Литературной газеты» – тогда тебе, болезному, не до девушек. Даже если на парковой лавочке раскинется призывно обнаженная юница, ты вряд ли остановишься: сил не хватит. Впрочем, все и всегда свою творческую бесплодность объясняют занятостью, и никто – размягчением таланта.

Но иногда именно погруженность в трудоемкие жанры вдруг толкает бывшего поэта к стихам. Так, сочиняя пьесу «Как боги», где у меня действует древний китаец, я для достоверности погружился в классическую поэзию Поднебесной и внезапно разразился странным циклом «Не в рифму»:

Смешная девочка боится темноты.

Нагая девушка – стеснительного света.

Увядшая жена – что муж уйдет.

Старуха – что не хватит на лекарства.

Или вот еще:

Мелькнула женщина за облетевшей сливой.

Звук флейты яшмовой затих на берегу.

Туман над озером горчит, как дым пожара.

Грустна любовь в эпоху перемен...

И вот что любопытно: последняя строчка дала название моему новому роману «Любовь в эпоху перемен». Стих помог прозе. Так что все еще может случиться. Бывших поэтов, как и бывших разведчиков, не бывает. Кстати, давно замечено, к старости многие, даже вроде бы совсем списанные на прозаический берег стихотворцы переживают творческий ренессанс, поражая читателей удивительными вещами вроде «Последней любви» почитаемого мной Николая Заболоцкого, которому в отличие от Бродского памятник так и не поставили. Возможно, и со мной случится нечто подобное. И как поэт я воскресну к новой жизни.

К счастью, то, что я принял за мою поэтическую кончину, оказалось летаргией, из которой мне иногда удается выйти. Сознаюсь, у меня стала постепенно складываться новая книга стихов, но я медлю ее издавать, боюсь услышать: «А прежний-то Поляков был поярче, погуще, повкуснее...» Но вам, дорогие читатели, за то, что осилили до конца это эссе, под занавес я дам по секрету прочесть одно из моих недавних стихотворений, сочиненное, так сказать, на обломках. В нем встречается одно забытое ныне слово «сучок». Так в 1950-е годы в народе называли дешевую водку, которая затыкалась пробкой, в сечении напоминавшей спиленный сучок.

СВАДЬБА

*В общежитии свадьба: гармошка
Заливается. Шум. Беготня.
И со шкафа таращится кошка,
Как ватрушки крадет ребятня.
Молодая – в цветном крепдешине.
Весь по форме жених-морячок.
И ему как мужчина мужчине
Гордый тесть наливает «сучок».
«Горько!» – требуют гости хмельные,
Гомонят и считают до ста, И покорные им мо-
лодые
Неумело сближают уста.
И встают, и смущенно уходят,
Чтобы строгая теща потом
При честном распахнула народе
Простыню с честным алым пятном. ■*